

## Крупным планом. Николай РУБЦОВ

Да, признание, но настоящее признание пришло еще не скоро. Помню, как обрадовался он публикации в «Труде» маленького стихотворения. Перехватив меня возле общезжития, гордо повел через дорогу к газетному стенду.

На вступительных экзаменах я что-то не припоминаю его — лишь в деревне обратил на него внимание, куда нас отправили сразу после начала учебного года. Сентябрь стоял дождливый, картофельное поле, наш трудовой плацдарм, развезло, и, случалось, по два-три дня кряду мы не покидали длинного деревянного барака, где нас разместили на нарах с сеном. Там-то я и услышал впервые его стихи.

Читал он их с легким надрывом, тонким голосом, прикрыв глаза. Признаюсь, тогда они не произвели на меня особого впечатления. Куда выше оценил его реакцию на

мое сумасбродное предложение идти на ночь глядя в соседнюю деревню. Зачем? Бог весть...

С детства время от времени накатывало желание отправиться куда глаза глядят, что я и проделывал. Сунув в карман горбушку хлеба и что-то наплетя бабушке, уходил километров за десять-пятнадцать от Симферополя — чаще всего по Алуштинскому шоссе, в сторону далекого, за горами, моря. Раз даже добрался до него — не один, с моим техникумовским приятелем Женькой Новиковым. Правда, большую часть пути проехали в кузове грузовика, пристроившись на нагретом солнцем запасном колесе. В Алушту прибыли вечером, искупались, ночь же провели, дрожа от холода, в будке телефона-автомата, затащив туда, чтобы сесть, ящик из-под помидоров.

Ну ладно, то море, в деревне же никакого купания поход не сулил, разве что под дождем. Но я уже завелся и, размахивая руками, вербовал себе попутчиков. Не знаю, какие уж доводы приводил, но на мой романтический призыв откликнуться не спешили. Вот только Рубцов произнес раздумчиво: «А что... Может быть», — и даже стал было подыматься с нар, но опустил обратно, увидев, что одевается «прозаик» Володя Гладких, интеллигентного вида юноша с вдумчивым взглядом за стеклами очков. (Вскоре его отчислили за творческую несостоятельность.) До деревни, погруженной во тьму — электричества в тамошних местах не было, — мы добрались-таки и, удовлетворенные, заночевали в стогу сена.

Итак, самый бездарный и самый талантливый — почему именно они? В обоих жила, видимо, некая детская простоватость, у одного переходящая в глупость, вскоре ставшая очевидной для всех, у другого — незаурядный талант, который первым разглядел через несколько недель Борис Слуцкий.

Среди легенд о Рубцове, до сих пор живущих в институте, есть и легенда о его якобы низкой культуре. Ложь! Читал он много и страстно, запоем, причем не только стихи, но и прозу. «А ведь Толстой — гениальный писатель», — с некоторым даже удивлением обронил однажды. На лек-

ции, правда, ходил редко, оставался в полупустом общежитии и к вечеру частенько бывал навеселе.

Как раз в это время то в одной, то в другой комнате стали пропадать вещи. Сейчас невозможно поверить в такое, но подозрение пало на Рубцова. Главный аргумент: на что пьет? Этот-то вопрос после долгих намеков, которые Рубцов отказывался понимать, хихикал да пожимал плечами, и задал ему напрямик Эдик Образцов. Выпускник военного училища, внешне напоминавший молодого Льва Толстого, он считался — да и действительно был — самым талантливым прозаиком на нашем курсе.

Спросил как выстрелил... Улыбка сползла с и без того бледного, а теперь вовсе побелевшего лица Николая. Он долго молчал. Потом медленно поднялся с кровати. (В комнате набилось столько народу, что сидели на кроватях.) Кулаки его сжались. «Ты... Меня... В воровстве...»

Несмотря на маленький рост и хилое телосложение, он отменно дрался, особенно ловко бил лысой своей головой, но сейчас ни голову, ни кулаки в ход не пустил. И даже слова, которые готовы были слететь с его уст — можно только догадываться, что это были за слова, — остались при нем. «Я не имею права тебе... Ты ниже... Ниже...»

Они были не на равных — и масштабом личности, и чистотой души («Поверьте мне: я чист душою...»), и уж тем более силой дарования. Рубцов это понимал и потому не мог по-настоящему ответить обидчику.

Но надо отдать должное и Образцову — часу не прошло, как отправился к Николаю извиняться.

Был еще случай, когда его — пусть не прямо, пусть косвенно, почти ненароком — обвинили в присвоении чужого. С некоторых пор он не читал, а пел стихи, под слабое бренчание гитары. Безо всяких комментариев, без названий — заканчивал одно стихотворение и после небольшой паузы начинал другое. И здесь-то его уличили. «Это же Блок!» На что Рубцов ответил спокойно: я пел вам стихи трех великих поэтов. Свои, стало быть, пел, Блока, третьим же был Тютчев, которого он любил особенно страстно, с каким-то даже детским изумлением, что такое возможно написать...

Этот эпизод я воспроизвел почти два десятилетия спустя в романе «Апология». Там Рубцов выведен под фамилией Гирькин. Многие узнали его, но сходство все-таки было сугубо внешним; сути рубцовского характера, рубцовской глубины и незаурядности мне передать не удалось. Это зорко углядел Лев Аннинский, написавший в послесловии к книжке: «Знаменитый поэт, являющийся на страницы “Апологии” в ореоле всесоюзной славы, оказывается какой-то белесой, бессловесной фигурой... Вы не чувствуете за ним “дыхания божества”, не ощущаете за ним духовной проблематики».

Что можно ответить на это? Пожалуй, только одно. Чтобы изобразить Сократа, нужно быть, по меньшей мере, Платоном...

Рубцов ускользнул даже от Астафьева. За два года до смерти Виктор Петрович прислал в «Новый мир» воспоминания о Николае, которые я, поскольку редактировал их, прочитал трижды. Но и там лишь бытовой Рубцов, коммунальный, выписанный с великолепной пластикой — читаешь и дивишься вместе с автором воспоминаний, откуда в этом сумасбродном неприкаянном человеке такая поэтическая мощь.

«Мы молча так, не до конца, переглянулись по два раза», — пишет он о встрече с лошадей в сумрачных вечерних кустах, напоминающих почти дантовский пейзаж. Помоему, это такое простенькое на вид «не до конца» гениально... И вот так же «не до конца» переглянулся он со своими современниками, даже столь крупными, как Астафьев. Переглянулся и «скрылся в тумане полей».

Этими четырьмя словами заканчивается большое стихотворение — «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны». Рубцов особенно любил его и читал почти всегда, так что мы давно уже знали его наизусть. Кто-то даже пытался подсказывать автору, скорей всего невольно, почти бессознательно, захваченный музыкой стиха, но Рубцов, не открывая глаз, грубо обрывал: «Не мешайте!» Это подчеркнутое обращение на вы к человеку, сидящему с ним за одним столом, пьющему с ним одно вино (он предпочитал

водке вино), отбрасывало незадачливого суфлера куда-то далеко-далеко. А суфлером случалось быть и женщине, которой, наверное, хотелось сделать поэту приятное, но с женщинами, при всей внешней, формальной вежливости (тут уж на вы обязательно), он бывал особенно бесцеремонен. Приходили-то они с другими ребятами, а в нем видели лишь сочинителя стихов, который развлекал их. Не мужчину, а сочинителя — трудно вообразить себе что-то, что уязвило б его сильнее. Если бы кому-то пришло в голову назвать его бездарью, он бы только улыбнулся в ответ своей хитровато-двузначной, немного джокондовской улыбкой и вряд ли б проронил в ответ хоть слово.

Последний раз мы виделись в 68-м на Тверском бульваре. Он шел из института, который еще не закончил (его то отчисляли, то восстанавливали), я — из «Советского писателя», где у меня только что вышел сборник повестей. Несмело отметить пригласил, и мы зашли в шашлычную «Эльбрус», на месте которой сейчас разбит сквер. Надпись на книжке сделал более чем скромную: «Коле от Руслана...» Он прочел, усмехнулся и заметил, что можно было б еще короче: просто — Коле. И вдруг — не помню уж к чему: «Ты не говоришь, но я чувствую: тебе нравятся мои стихи».

Редактором моей книги был поэт и прозаик Игорь Жданов. Жил он тогда недалеко от Тверского, на Арбате, и мы из «Эльбруса» отправились к нему. Помимо экземпляра книги, уже перекочевавшего во вместительный рубцовский портфель, у меня была папка с рукописью — Николай вежливо предложил и ее сунуть туда же, дабы в руках не нести. Еще в портфель влезли две бутылки, но их, естественно, не хватило на четверых (Жданов был с женой Галей), и я полетел в магазин, а когда вернулся через десять минут, Рубцова и след простыл. На мой удивленный вопрос хозяин, затягиваясь «Примой», ответил, что пригрозил выкинуть гостя в окно, поскольку он стал хамить Гале.

Вместе с Рубцовым исчезла моя рукопись, но через три дня я получил ее заказной бандеролью — судя по дате, Рубцов отправил ее на следующий же день, перед отъездом к себе в Вологду. Не поленился зайти на почту, не пожалел

денег, которых у него всегда было в обрез. Вот вам и необязательный, неаккуратный, не озабоченный прозой жизни поэт — таким, во всяком случае, рисуют его иные мемуаристы.

А в Вологду он приглашал меня довольно настойчиво... Ну, не то что приглашал, а несколько раз повторил, пока сидели в «Эльбрусе», чтобы непременно дал знать о себе, если окажусь в его краях. Но при этом, заметил я, не называл почему-то адреса, когда же я спросил, как найти его, ответил небрежно: «В Союзе писателей. Там всегда знают, где я».

Мне это показалось странным. Даже заподозрил, грешным делом, что он не особенно-то жаждет видеть меня у себя дома. И в мыслях не было, что дома как такового у Рубцова попросту нет. Жил где придется, у кого придется — лишь незадолго до гибели обзавелся, наконец, собственным жильем. Обо всем этом подробно рассказал в новомировской публикации Виктор Астафьев... Но я ничего этого не знал и, попав в Вологду, долго и безуспешно бродил по центральной улице, надеясь встретить своего бывшего сокурсника. Пойти в Союз, как он наказывал мне? Нет, не решился. В то время я уже хорошо понимал, что такое Рубцов...

В январе 1971 года, сев в троллейбус у метро «Новослободская», развернул «Литературную Россию» и увидел некролог. Некролог был маленьким, безо всяких подробностей и, кажется, без фотографии. Никакие другие газеты, в том числе «Литературная», не обмолвились о смерти поэта ни словом.

А почти за десять лет до того, в 62-м, мы отправились с ним на поэтический вечер в Политехнический. В полупустом троллейбусе он спросил вдруг, какое у меня любимое слово, и я, застигнутый врасплох, ответил первое, что пришло на ум: «Пристально». Рубцов подумал, покивал уважительно лысой своей головкой с тщательно зачесанными набок волосиками, согласился: «Хорошее слово».

Наверное, у него тоже было любимое слово, но я допытываться не стал.